



Маша Царева

Русская феминистка

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4930600
Русская феминистка: [роман]: Астрель; Москва; 2012
ISBN 978-5-271-42034-4

Аннотация

«Русская феминистка» – история горожанки, которая посмела построить собственную систему координат вопреки ожиданиям общества. Вокруг нее к женщинам относятся либо как к принцессам, либо как к служанкам, что по сути, два полюса одного и того же явления. Она же хочет быть другом и партнером, имеющим право на личную территорию и траекторию.

Отдельный герой книги – Москва, противоречивая, жестокая, каждый день предлагающая сыграть в «пан или пропал» и весьма неприветливая к тому, кто посмел нарушить ее спокойствие. И при внешнем европейском лоске все еще остающаяся патриархальным дремучим городом, в котором большинство искательниц независимости обречены на вечное одиночество.

Маша Царева

Русская феминистка

Я была некрасивым ребенком – щуплая, бледненькая, остроносая. Глубоко посаженные глаза смотрели на окружающий мир недобро и серьезно – причем мизантропическое выражение лица не имело ничего общего с моим характером.

Под маской шизоидной буки прятался обычный советский ребенок, который по утрам капризно выплевывал комковатую манку, рано научился читать, обманывать и шутить, был в меру смешлив, любил с визгом скатиться с ледяной горки на листке картона и сбивать старенькие деревянные кегли резиновым мячом.

Как правило, окружающим было лень докапываться до моей сути – судили по выражению лица, и судили строго. На детсадовских утренниках мне неизменно доставалась роль Бабы Яги, в то время как я, не смея посягать на святая святых – Снегурочку, всего лишь хотела в кордебалет, в снежинки: чтобы расшитая бисером марлевая юбочка, чтобы серебряные звезды на чешках. Чтобы кружиться, благостно улыбаясь, среди разбросанных по актовому залу комьев ваты, изображающих снег.

Но нет, моим уделом был картонный горб, спрятанный под плащом из мешковины, и шишकाстый посох, который мастерил из старой швабры трудовик. Когда я в таком виде впервые появилась на репетиции в актовом зале, один мальчик из младшей группы от неожиданности и ужаса описался. Попало за это почему-то мне, а испуганному дитя все дружно сочувствовали.

Я была одиночкой, но не изгоем. Взрослые меня опасались, им казалось, что ребенок с таким злым взглядом рано или поздно непременно что-нибудь «выкинет». Сверстники же относились ко мне с настороженным любопытством. Никогда не отказывались поиграть, если я сама предлагала. Так что детство в целом запомнилось мне счастливым.

Однажды – мне было лет шесть – я услышала, как мама говорит кому-то по телефону: «Уж не знаю, в кого она такая уродилась. Крошка Цахес какой-то, а не девочка».

Она-то имела в виду мою внешность, но самым забавным было то, что она и правда не знала, в кого именно я уродилась. В нашем славном семейном уравнении было одно неизвестное – мой биологический отец.

Мама похожа на эльфа, даже сейчас, когда она стара. А когда мне было шесть, каждый встретившийся на пути мужик шею сворачивал, глядя ей вслед. Нежное личико сердечком, розовые губы, огромные глаза цвета рассветного моря, пшеничные волосы до ягодиц. Ни грамма краски, все натуральное, все свое.

Мама, конечно, знала, насколько хороша, и вовсю этим пользовалась, что в ее понимании означало плевать на чувства любящих ее мужчин и менять их ежесезонно. В маму влюблялись крепко, на всю жизнь. Один отравился даже, но его откачали и потом долго лечили в психиатрическом отделении Склифа. Ведомая чувством вины, мама однажды понесла ему «Киевский» торт.

Не дойдя до нужного отделения всего один лестничный пролет, она познакомилась с молоденьким ординатором, который вышел покурить, а тут такое чудо. Пять минут непридуманно-кокетливой болтовни – и маме уже было доказано, что девяносто девять процентов якобы случайно спасшихся самоубийц – на самом деле шантажисты истерического типа. Они все нарочно хотят, чтобы их откачали и потом посадили на алтарь, на котором остаток жизни они провели бы такими великомучениками-самозванцами.

Эти псевдосамоубийцы лучше фармацевтов могут рассчитать нужную дозу снотворного и лучше Гарри Гудинни умеют вязать безопасные петли для демонстрационного шулер-

ского самоудушения. На самом же деле убить себя – проще простого. Если уж действительно решился на такое, осечек не будет.

Поскольку чувство вины маму тяготило и обгладывало изнутри, ей пришлось по вкусу версия ординатора. Прямо там, на лестнице, они напополам разъели киевский торт, после чего ординатор переехал к нам и остался месяца на четыре, пока мама не встретила кого-то там еще.

Вообще-то мама моя странная. Лет в десять у меня впервые появилось чувство, что это я за нее ответственна, а не наоборот. Когда я спозаранку уходила в школу, мама-полуночница еще спала, и я точно знала, что, если не оставлю на видном месте бутерброды и чайный пакетик в стакане, она будет голодной до моего возвращения. Эльфы не думают о земном.

Родилась мама у черта на кулишках. Хорошо, что у нее хватило ума и азарта в шестнадцать лет сбежать с каким-то рокером местечкового разлива в Москву. Бабу и деда я никогда не видела, но знала, что мама в конце каждого декабря пишет им длинные грустные письма, на которые никогда не получает ответ. Может быть, они уже давно померли и существуют только в ее воображении, подогреваемом кагором и изредка марихуаной.

До сих пор, а ведь мне уже за тридцать, я не знаю, как называли родители мою мать. Наверное, это было простое русское имя, Наташа, Оля или даже Танечка. Но мама всегда воспринимала его темным артефактом, который был дан ей, чтобы притянуть в ее жизнь все то, что она ненавидела. Обыденную простоту, тихое семейное счастье с кем-нибудь посредственным и уютным, как финский спальный мешок, отпуска в Геленджике и прочую скучноватую устаканенность. Мама всегда хотела для себя иной жизни, кочевнической, цыганской, пиратской. Ей хотелось бегать босиком под дождевиком, встречать рассветы на крышах, пить дешевую шипучку из горлышка бутылки, запрокинув голову, хохоча, и чтобы пена лилась за воротник. Ей хотелось нестись на мотоцикле в дальние дали, и чтобы ветер в лицо. Спать с зевсами и аполлонами, реже – с дионисами. Плевать на вытоптанную предками тропинку, на которой ее ждали сдающиеся без штурма волшебные города. Первая любовь, неудобная, похожая на ранний март, золотой ободок на безымянном пальце, рыночный творог все девять месяцев, что она будет носить под сердцем кого-нибудь вроде меня, откладывать копеечку – то на отпуск, то на новый плазменный телевизор, а в пятьдесят всплыть благообразной матроной при норковой шубе и тихом благодарном муже. Не такая уж плохая дорога, если разобаться и все взвесить. Пойдешь налево – коня потеряешь.

Но маме было плевать на потенциально потерянных коней. Ей хотелось никогда не знать, что принесет завтрашний день. Так что, выиграв кровавый бой с паспортным столом, в свои восемнадцать мама выцарапала себе новое, достойное ее эльфийской природы имя – Лу. Просто Лу. По-моему, красиво, если, конечно, не брать во внимание тот факт, что по отчеству она осталась Ивановной, а по фамилии – Кукушкиной.

Сейчас, к старости, она, конечно, спятила – так происходит почти со всеми, кто всю дорогу провел вне системы координат. Однажды я прочла в каком-то научно-популярном журнале, что наличие некой горизонтали и вертикали – это даже не навязанная норма, а биологическая потребность. В маминой жизни не просто не было хоть какой-то, пусть даже своеобразной, организации – она своими руками крушила замки, ею же и возведенные (преимущественно и без того воздушные). Отталкивалась от любого намека на твердь, как пловец отталкивается от бортика в бассейне, чтобы поставить рекорд. Только мама всегда плыла не к противоположному бортику, а в открытый штормовой океан.

И вот теперь она по-прежнему эльф, и в ее огромных синих глазах – все тот же космический свет, смех ее остался молодым, она стройна и со спины может сойти за студентку, и на ее улыбку хочется ответить. Но она сумасшедшая, просто сумасшедшая старуха. Она носит десятки деревянных бус, иногда ходит босой по своим Новым Черемушкам, посещает странные эзотерические клубы, где ее учат сто восемьдесят пять раз пропеть «аум»

перед каждым приемом пищи. На ее подоконнике – клетка с перепелками, к завтраку всегда есть крошечные свежие яички, зато квартира пропахла птичьим дерьмом. Она купила на eBay двадцатимиллиметровый пузырек цибетина – секреты анальной железы африканской виверры и добавляет крошечную капельку этого ада во все свои духи, утверждая, что это делает ее более сексуально привлекательной. Притом любовников у нее нет уже как лет пятнадцать – это не скорбная реальность, навязанная всеобщей помешанностью на молодых телах, а ее личный выбор.

Мама иногда пьет пиво с дворовыми подростками и пару раз в год уезжает на общественные работы в какой-то монастырь. Она курит по две пачки в день, довольно много пьет и фанатично смотрит «Доктора Хауса».

Но знаете, если бы при тех же вводных данных она чувствовала себя счастливой, я бы назвала ее не сумасшедшей, а «женщиной со странностями». К сожалению, мама из тех странников, которые уже перестали видеть смысл в вечной дороге, но так и не смогли найти себе приют.

Я иногда ночую у Лу, и у нас даже бывают прекрасные вечера – уютный ужин старой матери и повзрослевшей дочери. Мы пьем дешевое розовое вино, иногда заказываем суши и смотрим что-нибудь вроде «Давай поженимся» или даже «Пусть говорят». Но по ночам – я слышу – Лу плачет. Никогда мне не приходило в голову ее успокоить – я знаю, что она сочла бы это оскорбительным. Ей было бы неприятно и стыдно как подростку, которого родители застали за онанизмом.

И морщинки у нее такие, какие бывают у несчастных людей. И взгляд. Так что все ее причуды, которые некогда очаровывали всех, кто попадал в ее орбиту, все эти бархатные шляпки, все эти декламации Гумилева и Самойлова, все эти полуночные прогулки в никуда стали выцветшей декорацией из папье-маше, которые завхоз бедного провинциального театра и рад бы списать, да на балансе нет денег на новые. Да и какой смысл: вместо пубрики все равно всегда три калеки, и те в зюзя пьяны.

Я совсем не похожа на мать. С внешностью мы уже разобрались – с детства я была, скорее, из орков, а не эльфов, но дело даже и не в этом. Хотя я не раз задумывалась о безусловной красоте как первопричине череды неверных выборов. Красавицам, если разобраться, сложнее жить – их все хотят, их с детства все подряд начинают подстраивать под собственные представления об идеальном мире, поэтому часто они вырастают неопределившимися, этакими люди-флюгеры.

Если уж дурнушку полюбили – значит, зацепило что-то в ней, появилась волшебная алхимическая совместимость... А красавиц обычно всегда с кем-то путают. Подозреваю, что с принцессами, которых сами же и рисовали в детстве, а потом криво и с ошибками подписывали «моя будущая жЫна».

Я не похожа на Лу, потому что я земная. Нет во мне этой чертовщинки, ну или червоточинки, которая заставляет искать что-то несуществующее. Я всегда ходила по асфальту, а не парила над ним. Мне всегда хотелось быть градостроителем, а не пиратом. Не хватать охапками, а возводить – трудолюбиво и расчетливо, по кирпичику.

Тем не менее я тоже не могу назвать себя счастливой. К порогу возраста Христа я подошла в состоянии абсолютного разочарования – впрочем, в отличие от маминой смутной байронической грусти, моя собственная апатия была легко объяснима логически.

Я точно знаю, почему мое счастье маловероятно в той стране, в которой родилась, и точно знаю, что едва ли смогу все начать с нуля где-то еще. И сил не хватит. Да и как я могу бросить тут мать, одну, с ее перепелками, зловонными парфюмами и время от времени всплывающей на поверхность сознания навязчивой идеей выброситься в окно.

Впрочем, я благодарна Лу за то, что она воспитала меня такой. Научила жить с открытыми глазами. Пусть я не слишком счастлива, зато хотя бы сама с собой честна, а это уже немало.

Забавно, я даже могу вспомнить, как все началось.

Мне было лет пять, и кто-то из маминых гостей принес для меня книгу. Обычная советская малышковая книжка – стихи с иллюстрациями. А Лу вдруг помрачнела, а когда гости ушли, отобрала у меня книгу и выбросила с балкона. Она всегда была экспрессивной – хотя надо признать, страсть была ей к лицу. Я, конечно, разрыдалась.

Денег у нас было не то что бы много, новыми вещами меня не баловали. Я рыдала, размазывая сопли по красному лицу, а мама смотрела на меня растерянно. Она сама была ребенком в душе и никогда не понимала, как реагировать на мои «детские» проявления. В конце концов, ей пришлось в домашних тапочках идти на улицу и искать книгу в сугробе. Вы думаете, что размокший трофей был передан мне?.. Нет, Лу напоила меня травяным чаем, капнула на язык валерьянки, а потом усадила в плюшевое кресло рядом с собою, открыла книгу и начала проповедовать.

Начала она пафосно.

– Это вредоносная книга, она превратит тебя в животное, – мрачно сказала Лу.

Я немного напряглась – дети ведь склонны к образным ассоциациям. Мне тут же представилась вытоптанная копытцем сказочная ямочка, из которой нельзя пить, потому что козленочком станешь.

– Я хочу, чтобы ты была свободной. Чтобы сама выбрала себе жизнь, – Лу никогда не делала скидки на мой возраст. Никогда со мной не сюсюкала. – Вот, смотри на картинки.

Я проследила за ее указующим перстом. Картинка как картинка. Счастливая семья на даче. Красивая мама в рыжих кудряшках, белом кружевном фартучке и с блюдом дымящихся пирожков в руках. Благостно улыбающаяся бабуля (очки, седой пучок, лучики морщинок) моет посуду. Дочка с косичками что-то вяжет – кажется, кукольный носок. Мальчишка, ее брат, гоняет мяч с отцом. Дедушка куда-то уходит с удочкой на плече. Я смотрела и не понимала. При чем тут свобода? При чем тут «превратит тебя в животное»?

– Приглядиись, дочь, – пожалуй, с некоторым трагизмом, сказала Лу. – Что делают мама, бабушка и девочка?

– Ну... Занимаются домашними делами, – растерянно ответила я.

Мама обрадовалась так, словно я выиграла шахматный турнир.

– Вот! – тонкий указательный палец, увенчанный отполированным перламутровым ногтем, торжествующе взметнулся вверх. – Ты все понимаешь правильно. А что делают папа, дед и сынок?

– Отдыхают...

Лу вдруг отшвырнула книгу, подняла меня на руки и закружила по комнате. Потом отпустила, чмокнув в макушку.

– Моя дочь – умный человек с большим будущим. А теперь ответь мне на третий вопрос, самый сложный, – она выдержала торжественную паузу, после чего возопила: – А какого хрена они не помогают?! Какого хрена дед поперся рыбачить, вместо того чтобы помочь своей жене мыть посуду? Он что, считает, это так просто – помыть тарелки в дачных условиях? Там же вода холодная, надо греть! Почему она не реагирует? Почему не скажет, что он просто старый козел?!

Лу всегда была артистична. Я знала, что в юности она дважды пыталась поступать в Щепкинское. Ее не приняли, и это было предсказуемо – мама всегда заполняла собою пространство целиком, не оставляя места ничему другому. Она смогла бы играть разве что клоунаду, что в амбициозные планы Лу не входило – она-то претендовала на инженерю. Волну-

ясь, мама смешно таращила глаза, размахивала руками и была похожа на пластилинового мультипликационного человечка с гипертрофированной мимикой.

И теперь она ходила по комнате, и голос ее становился все громче. Я слушала ее, вжавшись в спинку кресла, не выпуская книгу из рук.

– Потому что он и есть старый козел. Как и отец семейства. Почему он играет в футбол, пока его жена печет пирожки? Почему его сынок гоняет мяч, а дочь учится домашнему хозяйству? Почему из дочки они растят хозяйку, а из сына – раздолбая?! Ты еще сто, нет – тысячу раз столкнешься с этим, дочь. К сожалению. Мужчина и женщина работают наравне, но от женщины при этом еще и требуется быть хозяйкой и мамой. А «божок» имеет право тратить свободное время на рыбалку и футбол! Так что выброси эту книгу, лучше почитаем Питера Пэна.

Похожие эмоции вызывал у мамы фильм «Золушка».

– Если она такая трудолюбивая, могла бы всего добиться и без принца, – фыркала Лу, крася ногти на ногах перед экраном, на котором красивая кудрявая Янина Жеймо кружилась в бальном платье. – Так нет, все туда же. Как будто принц – единственный выход.

Конечно, тогда, в пять лет, я вряд ли могла понять истинную причину маминого возмущения – мне просто нравилось за ней наблюдать, такой порывистой и страстной, и, если честно, подобный спектакль даже стоил потери книги с «вредоносными» иллюстрациями.

Лу была моим строгим цензором – она могла забыть покормить меня обедом, но ей было не все равно, какие книги я читаю и какие фильмы смотрю. Она все время говорила: мол, дочь, ты имеешь полное право на любую жизнь, такую, которую ты выберешь себе сама. Хоть просто выйти замуж и родить пятерых, хоть стать крутой карьеристкой и владельцем заводов-газет-пароходов. Я должна ориентироваться только на внутреннее Чувство Пути, но никак не на собственный пол.

Пожалуй, это одно из самых моих счастливых детских воспоминаний. Крошечная кухонька, оплавленные свечи на столе, по пузатым кружкам разлито пряное какао. И она, Лу. Ее точеный профиль, ее белая рука, ее вдохновенные речи. Я же тихо сидела, взобравшись с ногами на табурет и обхватив руками колени, смотрела то на маму, то на кусочек беззвездного бархатного неба в окне, и длинные монологи о Чувстве Пути были моей любимой музыкой.

Сейчас мне уже тридцать два, и я из тех, о ком все говорят – мол, крепко стоит на ногах. У меня есть однокомнатная квартирка в Сокольниках, на которую я заработала сама, есть малолитражный корейский автомобиль, я исколесила Америку, Европу и Юго-Восточную Азию, я ношу дорогие вещи и могу себе позволить слетать на выходные на премьеру в Венский оперный театр.

Уют моей крепости поддерживает домработница, мои вещи приводятся в порядок в химчистке, моими волосами занимается дорогой стилист, гей греческого происхождения. Каждый вечер я выпиваю бокал французского брют, каждую среду ужинаю с друзьями в одном из гурманских ресторанов Москвы. Я из тех, о ком любой глянцевого журнала написал бы – *self-made woman*. Этот город принадлежит таким, как я. Тем, кто имеет наглость верить в себя и посягать на его олимпы.

Любовники, конечно, тоже есть. Уже в двадцать лет я вполне усвоила, что не только у женщин, но и у мужчин оргазм бывает не между ног, а преимущественно между ушей. Мою некрасивость вполне компенсировало умение быть свободной – я никогда не пыталась кокетничать, с мужчинами держалась подчеркнуто дружески. При этом грудь полного третьего размера и передававшаяся по наследству любовь к фасонам из пятидесятых годов исключали утверждение в роли «своего парня».

Мужчинам я нравилась всегда. Но ни с одним из них у меня не получилось построить отношений, хотя бы отдаленно напоминающих семейные. Даже если иметь в виду формат современной московской семьи – из тех, которые в качестве первого кирпичика имеют аргумент «потому что так весело», на худой конец – «потому что так надо», создаются спонтанно и разваливаются через хрестоматийные три года.

Мне тридцать два года, и я жду ребенка. Это будет девочка – что и радует, и пугает. Пугает, потому что я знаю, как трудно женщине выживать в мире, который все еще принадлежит мужчинам, что бы там ни писали в прессе о свободе и толерантности. Радует, потому что я сама прошла такой путь, а значит, смогу помочь и ей.

Я знаю, что отец моего ребенка брюнет, рост – 185, глаза светлые, образование – мировая экономика, аллергия на цветение акации, хобби – большой теннис и шахматы. Его сперму я купила в специальном немецком банке.

В России тоже существуют банки спермы, но почему-то мне видится за ними шулерский трюк – так и представляю хитроглазых молдавских гастарбайтеров, которые сначала пишут в анкете, что учились в Гарварде и имеют черный пояс каратэ, а потом, полистывая свежий номер «Плейбоя», удаляются в специальную комнату, чтобы излить семя в пластиковый стаканчик.

Сперма была доставлена в специальном контейнере из Германии. Целый месяц меня обкалывали гормонами, чтобы организм выработал как можно больше яйцеклеток. Это было трудно – обычно уравновешенная, я вдруг стала плаксивой неженкой.

Мне хотелось объедаться шоколадной пастой и дремать под байковым пледом, а надо было ходить на работу, брать у кого-то бессмысленные интервью, прослушивать километры пленки в поисках нужных слов. И писать. Производить оригинальные мысли, складывать их в слова и предложения, перчить гурманской дозой острого юморка. Я журналистка, веду три еженедельные колонки в сетевых изданиях и снимаю специальные репортажи для одной социальной телепрограммы с «желтым» духом.

Дважды в день ко мне приходила медсестра, чтобы сделать укол – гормоны. К концу месяца мой живот раздулся так, словно я проглотила футбольный мяч – как будто бы я уже была беременна, а не только ступила на отчасти авантюристский путь искусственного оплодотворения. На мне не застегивались ни одни джинсы, и на работу я ходила в непальских лоскутных штанах, которые делали меня похожей на одного из тех раздолбаев-дауншифтеров, чья жизнь состоит сплошь из молочных гоанских рассветов.

Мое тело оказалось волшебной печью из сказки – к концу гормонального курса выяснилось, что яйцеклеток получилось двенадцать. Целый год «женской» жизни, прожитый за один-единственный месяц. И вот настал день, когда мне сделали усыпляющий укол, после чего врач специальной иглой извлекла яйцеклетки и отправила мое «инь» в эмбриологическую лабораторию.

Эмбриолога звали Ашот Арамович, и он мне понравился, несмотря на то, что, едва меня увидев, прицокнул языком и с хрестоматийным «вах-вах» заметил, что у меня роскошные щиколотки. Обычно меня тошнит от подобных сексистских шуточек, но манеры Ашота Арамовича были лишены той липкой сальности, которая всегда заставляла меня брезгливо передернуть плечами.

В нем вообще было что-то отеческое. Есть мужчины, которые смотрят так, словно по голове гладят, и мужчины, которые умеют одним взглядом раздеть и изнасиловать. Эмбриолог был из первых. Я даже приняла его приглашение съесть по тирамису в итальянской забегаловке напротив клиники.

Там, над пряным капучино, Ашот Арамович сперва рассказал о том, что он уже два года как вдовец, и это невыносимо. У него две дочери, по шажочку пробирающиеся в глухие чащи трудного возраста. Одиннадцать и двенадцать лет. Почти маленькие женщины, и это

иногда восхищает, но чаще тяготит. Потому что у старшей уже вовсю растут волосы под мышками, а младшую на прошлой неделе выгнали с урока информатики за то, что она поцеловала в ухо соседа по парте. И что с этим всем делать, Ашот Арамович не знает, даром что на его прикроватной тумбочке лежит атлас анатомии человека. Но одно дело – абстрактный «человек», а другое – плоть от плоти своей, которым не сегодня-завтра предстоит покупать первые тампоны. Кто-то посоветовал ему обратиться к какой-нибудь из подруг покойной жены, так он и сделал. Пожалел, едва она переступила порог квартиры, потому что даже в душноватом запахе ее ванильной туалетной воды ощущалась некая смутная надежда, а что уж там говорить о густо подведенных глазах и кокетливом хохотке, который вырвался из ее малиновых губ, когда Ашот Арамович из вежливости сказал, что она похорошела. Приперлась она ближе к полуночи (хотя речь шла о «заеду вечером»), когда обе дочери уже спали, принесла с собой портвейн и домашние пирожки с яйцом. В итоге почти до рассвета ему пришлось слушать о том, что все мужики – козлы, а она – баба-ягодка опять. А пирожки все равно были невкусные. Еле выпроводил ведьму и потом еще два дня проветривал квартиру от ее ментоловых сигарет.

Слушать его было отчасти грустно, отчасти забавно. Медленно помешивая сахар мельхиоровой ложечкой, я наблюдала за взволнованным лицом эмбриолога. Выговорившись, он вдруг смутился собственной откровенности и резко перешел на другую тему – мои яйцеклетки VS качественная немецкая сперма. Рассказал, что, перед тем как внедрить сперматозоид в клетку, у него отрезают хвостик – я не запомнила, зачем именно, но самая идея показалась мне романтической.

– Как это концептуально, – рассмеялась я. – С самого начала подрезать крылышки маскулинности. А то от нее и так не продохнуть.

– А вы, Алла Николаевна, стало быть, одни? – спросил он. – И решились на такой шаг в ваши...

– Тридцать два, – подсказала я.

Его глаза округлились, и он заахал, что больше двадцати восьми мне не дашь. На самом деле это все ерунда, и выгляжу я на свои, тем более уж после адовой гормональной атаки.

– И вы решили не дожидаться...

– Прекрасного принца? – прыснула я. – Это никогда не входило в мои цели. Знаете, это дезинформация, что принцев якобы не хватает. На самом деле, куда ни плюнь, попадешь как раз в него. Но мне-то всегда требовался не принц, а партнер. А с этим в России напряженка.

Мгновенно поскучив (впрочем, к своим тридцати двум я привыкла к подобной мужской реакции), эмбриолог перевел разговор на что-то безопасное и почти светское. Рассказал о том, как в прошлом году они с дочками ели авокадо, и старшей вздумалось посадить косточку, и вот теперь у них на подоконнике есть небольшое деревце, и это чудо.

Мне показалось трогательным, что человек, который отрезает хвостики у сперматозоидов, считает чудом какое-то дерево. Хорошим мужиком был этот Ашот Арамович. Правда, сразу видно, что из однолюбов, – когда он упоминал покойную жену, его лицо светлело.

Вряд ли он сможет когда-нибудь полюбить еще раз, зато сразу видно, что, если и войдет в его сердце и дом новая женщина, он будет ей остаток жизни служить преданно и с наслаждением. Наверное, это должна быть тихая простая баба, моложавая, из тех, что каждое субботнее утро посещают косметолога, но к обеду всегда пекут свежие булочки. Так что это чье-то счастье сидело напротив меня, грустно посматривало в окно, за которым вальсировала метель, и, вероятно, немного сожалело о том, что женщина с красивыми щиколотками оказалась зараженной вирусом самостоятельности.

Через три дня после этого своеобразного свидания Ашот Арамович пустил меня в лабораторию и разрешил в микроскоп рассмотреть клетки, которые начали делиться. Следующим вечером их должны были пересадить в мою матку. Начало новой жизни. Мое светлое

будущее, которое все эти семьдесят два часа росло в пробирке. Первые семьдесят два часа беременности я могла курить сигареты, пить коньяк, не высыпаться и есть жирную пищу в любых желанных количествах.

Побывать в лаборатории было интересно, хотя ничего похожего на пробудившийся материнский инстинкт я не испытала – разделившиеся клетки напоминали жабью икру. Молоденькую медсестричку, похоже, разочаровало мое спокойствие, она все прыгала вокруг и пыталась повысить эмоциональный градус.

– Какие хорошие клеточки, ровные, делятся отлично! У вас вообще эталонный случай, целых восемь хороших эмбриончиков получилось! Можно заморозить часть, вы же наверняка захотите еще деток!

И такая румяная она была, такая ясноглазая, такая блондиночка, со стрелочками на старомодных чулках, в светло-розовых туфельках и отутюженном медицинском халате. И в ее интеллигентно подведенных глазах было такое ожидание счастья – простого, бабьего, «был бы милый рядом», что я не удержалась и улыбнулась в ответ.

Улыбка моя была скорее сочувственной, но я давно заметила, что люди, которые построили вокруг себя бесхитростный, опирающийся на патриархальные ценности мирок, в котором все просто и понятно, и роли распределены заранее, клюют на фальшивые реверансы, как караси на хлебный мякишек.

Спустя сутки после того, как я увидела в микроскоп «жабью икру», в мою матку посадили четыре готовых эмбриончика. Распятая в гинекологическом кресле, я смотрела на монитор и видела их – четыре крошечные точки, похожие на микроскопические, едва различимые взглядом звездочки. Улыбчивая врач предупредила, что, если приживутся все четыре эмбриончика, придется делать резекцию – удалить два или даже три.

Женщина, забеременевшая таким образом, не сможет выносить четыре плода. Такого почти никогда и не случается, но надо настроиться на то, что беременность будет сложной. Мне придется принимать гормоны, много, почти до двадцатой недели. Каждую среду приходиться на осмотр. Относиться к своему организму как к хрустальной вазе и, чуть что не так, ложиться в больницу, на сохранение. Но все это, конечно, только в том случае, если хотя бы один эмбриончик приживется. С первой попытки мало у кого получается, тем более в моем «почтенном» возрасте.

Об этом я, конечно, знала и без врача. Начиталась в сети страшилок о том, как женщины проходили по двадцать курсов суровой гормональной терапии, их вес увеличивался втрое, а характер портился до неузнаваемости, и ничего – полная пустота.

Но я всегда старалась жить, не сравнивая себя с другими, – так мне казалось удобнее. У меня было блаженное самоощущение ребенка – я не считала себя ни красавицей, ни дурнушкой, ни неудачницей, ни везунчиком, просто жила, стараясь взять по максимуму от любых сложившихся обстоятельств.

В тот день я вышла из клиники, прижав ладонь к животу; я вернулась домой и улеглась на диван, выпив стакан теплого молока, а когда позвонила моя подруга Лека с предложением выбраться в ближайший бар на стаканчик безалкогольного мохито, отказалась, сославшись на усталость.

Я приготовилась беречь себя, как исполненный космосом сосуд. Однако старалась не делать из своей пока еще не подтвержденной беременности сверхценности. Я была заранее готова к тому, что выбранный мною путь может быть долгим.

Может быть, поэтому мне и повезло. Я попала в те тридцать процентов женщин, у которых с первого раза получается забеременеть методом экстракорпорального оплодотворения. Через две недели тест на беременность уверенно выдавал две яркие синие полоски, и я услышала заветное «поздравляю» из уст врача.

Я купила витамины для беременных, крем от растяжек и несколько свободных рубашек, позвонила любовнику и сказала, что нам нужно взять паузу, бросила курить и записалась в йога-клуб.

Я осознанно готовилась стать матерью-одиночкой, и это в городе, где штамп в паспорте по-прежнему приравнивался к некому положению на социальной лестнице, где бывшие однокурсницы, которые не видели друг друга тысячу лет, при случайной встрече спрашивали: «Ну что, замуж вышла?», а если вдруг получали отрицательный ответ, сочувственно качали головой и говорили: мол, ну ничего, все образуется, какие твои годы.

Я чувствовала себя немного первопроходцем и пиратом.

И это мне нравилось.

Я часто вспоминаю один случай из детства.

Случилось это в мой двенадцатый июнь. В то лето за моей Лу ухлестывал университетский профессор – благообразный, седобородый, в твидовом пиджаке. Сейчас я понимаю, что ему было от силы пятьдесят, но тогда он казался мне глухим стариком, ибо сочетал в себе все атрибуты, которые дети обычно ассоциируют с побережьем Стикса.

У него была буковая трость с бронзовым набалдашником. Лу это веселило – она говорила, профессор просто позерствует, а тот в ответ обиженно бормотал об удаленных менисках. И он слушал Чайковского и Брамса, и это было невыносимо для ребенка моего темперамента. И он ел овсянку по утрам, и к завтраку покупал свежие газеты, его пальцы вечно были перепачканы типографской краской.

А еще он спал в пижаме, что провоцировало ежевечерний демонический хохот Лу. Мы то с ней всегда, даже зимой, спали голышом, как первобытные люди в пещере. Я и до сих пор не понимаю сути всех этих ночных рубашек – по-моему, это какой-то викторианский атавизм.

Так вот, тот профессор однажды подарил мне шахматы, причем у него хватило терпения обучить меня не только основам, но и нескольким игровым комбинациям.

Сначала мне эта затея не нравилась, но из вежливости я терпела. А потом как-то незаметно втянулась. Лето было жарким и сухим, целыми днями я паслась во дворе с шахматной коробочкой под мышкой. Дети склонны к подражанию, так что к концу августа мое хобби как-то незаметно стало общим дворовым, и мы даже устраивали турниры, и взрослые, умилившись нашей тяге к знаниям, даже покупали победителям призы.

Я была в лидерах. И вот на одном из таких турниров (до сих пор помню, что главным призом был огромный тульский пряник в форме сердца, медовый, свежий, с белой глазурью) в финале остались я и мальчик из соседнего двора по имени Володя.

Володя, мало того что был почти на два года старше, так еще и учился в физико-математической школе, в отличие от меня, посещавшей школу с углубленным изучением английского языка.

Мое намерение заполучить пряник было крепко, да и тренировалась я все лето. Почти каждый вечер мы с профессором разыгрывали партийку сначала по готовым комбинациям, потом – в импровизационном формате. Он учил меня думать, просчитывать на десять ходов вперед.

Володя играл белыми. Партия затянулась, а ведь ни у моего соперника, ни у меня самой не было той особенной усидчивости, которая позволяет часами не терять внимания. Мы оба были обычными детьми, которые играли в городки, прятки и войнушку и перебивались с четверки на тройку – причиной была лень, а не скудоумие. Но вот в какой-то момент Володя зазевался, и мне удалось поставить капкан – поглотив его ферзя, я с удовлетворением ждала того неминуемого момента, когда сопернику настанет пиздец. И вдруг кто-то дернул меня за

рукав – обернувшись, я увидела маму Володи с преувеличенно доброжелательной улыбкой на пористом, как свежий дрожжевой хлеб, лице.

– Дети, перерывчик на две минуты, у меня к Аллочке есть разговорчик, – сказала (вернее, елеино пропела) она. Нежно уведя меня в сторонку, она зашептала: – Алла, ты такая умная девочка, но ты же понимаешь, для него это стресс. Я вижу, что ты затеяла, но мне кажется, ты должна срочно как-то переиграть.

– Зачем? – Я даже не сразу поняла, что она от меня хочет.

Пахло от нее удушающе сладким парфюмом и почему-то нафталином – таким запахом обычно пропитаны старухи с дурнинкой, претендующие на некоторую долю богемности и носящие изъеденную молью лисью шкурку вместо шарфа. Я невольно пятилась, а тетка надвигалась. Лицо ее было круглым как полная луна.

– Володя – будущий мужчина, – сдвинув подкрашенные черным карандашиком брови, серьезно изрекла она. – Ты пока еще маленькая, не понимаешь. Но мужчина – воин, добытчик, глава семьи. Проигрывать для него – травма. А тут еще... – она скривилась, – проиграть девчонке на два года младше его... Его же ребята засмеют.

– Но послушайте... Он мог и не участвовать в турнире, раз так не любит проигрывать, – вежливо возразила я.

– Скажи, что сдаешься, – почти потребовала Володина мать. – Ты девочка. Ни к чему тебе победы.

Кивнув, я вернулась к столу и, конечно, выиграла.

Володина мать больше со мной никогда не здоровалась, даже когда прошло уже много лет, я стала относительно взрослой девушкой, и все эти дворовые игры и турниры остались далеко позади.

В тот вечер мы с Лу пили чай с домашним земляничным вареньем, и я рассказала ей о случившемся. Мы всегда обсуждали события дня вдвоем, мамыны мужчины участия в диалоге не принимали; это было нашей ежевечерней традицией. Выслушав меня, Лу рассмеялась и полезла в буфет за конфетами с ликером.

– Молодец, дочь, – сказала она. – Так им всем.

А потом еще долго приговаривала: «Ну надо же, какова! Что придумать – надо сдаться, чтобы у мальчика не было травмы поверженного. Потому что, видите ли, он мужчина. Да с такой-то мамашей говном он вырастет, а не мужчиной. Ему с самого детства внушают комплексы, которые через несколько лет станут ему стальной клеткой. И фигушки он выберется, этот нюник Володя!»

Лу устроила меня в лучшую школу района, языковую. К семи годам я, росшая среди взрослых, свободно читала, причем не адаптированную для малышей литературу, а Афанасьева и Твена; любила важно и многословно рассуждать, немного понимала английскую речь и даже замахивалась на псевдофилософские разговоры.

Школьные экзамены я выдержала с блеском, присутствовавшая на моем собеседовании дама из РОНО даже сказала, что я далеко пойду. Однако моей фамилии не оказалось в списке зачисленных в первый класс.

В школе той учились дети министерских чиновников и прочих важных шишек, иногда просачивалась богема – например, моей одноклассницей была дочка всеми любимой и обласканной властями народной артистки, а в параллельном классе учился сын рокера, который был знаменит в том числе и тем, что устраивал красивейшие попойки, живописные оргии, а когда нам было по пятнадцать, и вовсе повесился от скуки. И тут Лу, у которой в наличии были агатовые мундштуки, вуали, опасная истома в синих глазах, зато напрочь отсутствовал социальный статус.

В общем, меня не приняли. Но мама моя, когда речь заходит о чем-то действительно важном, может на короткое время перевоплотиться в ту самую воспетую русскую бабу, которая и коня на скаку, и в избу горящую, и все такое. Потрясая звонкими индийскими браслетами, она заявила в министерство образования.

Разумеется, ей не удалось миновать проходную. Зато она познакомилась с одной из местных мелких сошек, чуть ли не уборщиком, который, очарованный страстным напором, принял из ее прекрасных нервных рук заявление о том, что меня непременно должны зачислить в ту самую школу, подsunул его на подпись министру, замешав в пачку заявлений о покупке новых швабр и моющих средств. Чудо – шулерский трюк удался.

На следующее утро торжествующая Лу явилась в кабинет школьной директрисы с подписанным министром заявлением. Так я оказалась среди учеников одной из самых престижных школ Москвы.

Учиться было довольно скучно. С самого детства мне внушали, что осмысливание – неотъемлемая часть познания, однако в школе ухитрялись концентрироваться на втором, начисто игнорируя первое. Знания нам давали в изобилии – в последних классах обучение велось на университетском уровне. Однако любые попытки возразить, вытащить из-за пазухи хоть какой-то контраргумент карались.

Я считалась «сложной», хотя, по сути, была ангелом во плоти.

«Этой Кукушкиной всегда больше всех надо», – говорили обо мне учителя. Страницы моего дневника пестрели замечаниями, вроде «перебивала учителя», «хамила на уроке английского» и даже «демонстрировала асоциальное поведение». Лу все это зачитывала вслух телефонным подругам, смеясь и прихлебывая разбавленный вишневым соком коньячок.

Впервые асоциальное поведение было продемонстрировано мною еще самым первым школьным сентябрем. Лу пришлось купить мне школьную форму – обычную советскую школьную форму: коричневое платье и два фартучка, повседневный черный и нарядный белый, с пошленькими кружевными тесемочками.

Платье было еще куда ни шло, но фартук меня оскорбил. В первый же день я скомкала его и убрала в портфель. А поскольку школа была строгих правил, уже через несколько минут после этого диссидентского акта я была задержана дежурной по коридору – остроносой старшеклассницей с красной повязкой на рукаве.

– Девочка, где твой фартук? – тоном энкавэдэшника, допрашивающего троцкиста, спросила она.

В свои семь с небольшим я еще не овладела искусством плетения лжи, так что среди моих пороков была патологическая честность дурака.

– В портфеле, – бесхитростно призналась я. – Я это носить не буду.

– Ты думаешь, что здесь дом моделей?! – возмутилась дежурная.

– Нет. Но я думаю, что я советская школьница. А вовсе не горничная и не хозяйка на кухне.

В планы (или навыки?) старшеклассницы не входило ведение спора с мелкой соплей вроде меня, поэтому я была схвачена за локоток и сопровождена в директорский кабинет, где мне прочитали лаконичную лекцию о том, что желание выделиться по своей сути буржуазно, а значит, не украшает советского человека. Меня заставили надеть измятый фартук, самолюбие мое было больно задето, и я нашла укромный уголок, чтобы поплакать в одиночестве, – физкультурную раздевалку.

Там я и познакомилась с той, кто на все десять школьных лет стал моей школьной подругой. Лекой.

Лека тоже пришла в раздевалку плакать, но причина ее скорби была иной.

Некий Паша Скворцов из первого «А» назвал ее «жирной свиньей», громко, с обидным смешком. Весь класс это слышал, и все сочли шутку удачной, тем более что у Леки и правда был лишний вес. Рыжая, рослая, с круглым, как оладушек, красным от смущения лицом, она сидела на скамеечке и утирала сопли кружевными манжетами. Увидев меня, она закрыла лицо рукавом. Бедный загнанный зверек, ей показалось, что я пришла насладиться ее позором.

Я села рядом и погладила ее по нечесаным волосам. Лека была неряхой – ладони перепачканы чернилами, толстая коса в вечных колтунах, дешевые колготки собраны «гармошкой».

– Эй, ну ты чего. Они же просто уроды. Разве ты сама не видишь?

– Вижу, – буркнула Лека. – А ты чего пришла?

– Плакать, – вздохнула я. – Меня унизили.

Лека мгновенно забыла о собственном горе. Я рассказала ей о фартуке.

– Ну ты и дуууура, – почти восхищенно протянула она.

Подружились мы быстро, как бывает только в детстве. В тот же день в школьном дворе я нашла Витю Скворцова и пребольно треснула его портфелем по голове. Вряд ли я была сильнее его физически, но один из любовников Лу, который когда-то мотал срок за какие-то махинации, однажды сказал то, что я на всю жизнь запомнила.

В поединке всегда побеждает тот, кто сильнее духом. Если ты отчаянный, храбрый и уверен в себе, тебя будут бояться и те, кто теоретически мог бы перешибить тебя одним мизинцем. Конечно, он имел в виду себя. Рассказывал все это, чтобы порисоваться перед моей Лу. Как он попал в камеру к каким-то отморозкам и те пугали его хрестоматийным «твое место у параша», да не на того напали, он принял честный бой, в котором его уделали до кровавых соплей, зато, выйдя из лазарета, он стал уважаемым человеком. Почему-то мне это ярко запомнилось. С каким вдохновенным лицом он все это рассказывал и какие у него в тот момент были глаза.

Теорию о силе духа мне доводилось испробовать на практике и до случая с Витей Скворцовым. Однажды дворовые мальчишки привязали консервную банку к хвосту какого-то несчастного кота, это меня возмутило, и я предложила честный бой. Получила по ушам, разумеется, зато, пока меня били, коту удалось сбежать. А потом весь двор говорил – мол, с этой Кукушкиной лучше вообще не связываться, она полностью соответствует своей фамилии, то есть на всю голову ку-ку.

Так что я смело атаковала Лекиного обидчика портфелем, в моем дневнике появилась очередная гневная запись дежурных, а дружба с Лекой была закреплена сотрясением мозга Вити Скворцова.

С тех пор мы были друзья не разлей вода.

Однако фартук все же не давал мне покоя. Мне казалось, что у меня так буднично и обидно отобрали частичку той свободы, важность которой с младенчества доказывала мне Лу и которая, кстати, тоже подливала масла в огонь.

– Фартук, – разглагольствовала она, закинув одну ногу в сетчатом чулке на другую и закуривая очередную сигаретку, – во все века был атрибутом обслуживающего персонала. Фартуки носят, чтобы не испачкать одежду во время ремесленного труда. Домохозяйки и мясники. Вас же в школе не заставляют резать свиней?

– Нет, – мотала головой я.

– Вот именно! А в качестве форменной одежды его носят, пожалуй, только горничные. Этаким отличительный знак сословия. Вот я и не понимаю, почему из советских школьников растят... Парашек каких-то. И если в этом есть какой-то смысл, почему те же фартуки не носят и мальчишки. Бред! Бред!

Школьная форма для мальчиков, признаться, не давала покоя и мне самой. Я была подвижной, спортивной, неусидчивой. Вечная дворовая заводила, я словно попала в клетку.

После сорока минут урока мне хотелось выпрыгнуть из собственной кожи, с визгом пронестись по школьным коридорам, сделать колесо, попрыгать на одной ножке. Все это было крайне неудобно делать в платье.

Однажды меня остановила статная седовласая учительница. Я бежала по холлу, а она словно из-под земли выросла передо мной и, протянув руку, точным движением поймала за плечо. Хватка у нее была железная, как у робота.

– Что ты творишь? – спросила она таким тоном, что я мгновенно почувствовала себя провинившейся.

– Ну... бегаю, – честно ответила я.

– Посмотри на себя. Ты высоко поднимаешь колени. Юбка задирается. Это отвратительно. Ты же девочка.

– Но я люблю бегать... – Я сама понимала, что звучу беспомощно, и это было ужасное ощущение.

А учительница та интересной была. Тогда мы еще не были знакомы, она преподавала русский язык и литературу у старшеклассников, но потом я узнала, что она местная звезда. Даже звали ее необычно – Стелла Сергеевна.

Когда-то она была балериной, правда, не солировала, танцевала в кордебалете. А потом – трагедия, упала с лестницы в гололед, сложный перелом ноги, полгода в гипсе. Она нашла в себе силы не подружиться с бутылкой, не растолстеть и не обозлиться на жизнь. Покорно приняла новые декорации и постепенно училась в них выживать. Поступила на заочный в педагогический. Но на всю жизнь вокруг нее остался этот особенный театральный флер. Ее осанка, ее прямая, как струна, спина, ее королевский поворот головы, ее гладкая прическа и прямой жестковатый взгляд.

Она не пользовалась косметикой и не красила волосы, обильно припорошенные ранней сединой. Тогда, в семь лет, я конечно, не доросла до того, чтобы ею восхищаться, и она показалась мне обычной гримзой, старой и скучной. И конечно, я не могла знать, что через много лет мы подружимся, и дружба эта перерастет школьный двор, выпускной, университетские годы и продлится до самой ее смерти, к сожалению, несвоевременной и трагической. Но об этом потом.

– Ты должна учиться быть женщиной, а не бегать как пацан, – поставленным низким голосом изрекла она. – У тебя хорошие данные. Ты даже не сутулишься, что редкость для современного ребенка. Но ты должна запомнить – нельзя высоко вскидывать колени, если ты в юбке. Это вульгарно и пошло.

Она наконец отпустила мое плечо, на котором вечером обнаружился сероватый синяк. В дальнейшем я старалась просто не попадаться Стелле Сергеевне на глаза. Всегда искала ее взглядом. Ее трудно было не заметить – чеканная походка заставляла всех расступаться. Заприметив ее в конце коридора, я вжималась в стену и опускала глаза. Иногда, проходя мимо, она улыбалась мне и удовлетворенно кивала.

– Лу, – взмолилась я после первой учебной недели, – а что, если мне носить мальчишескую форму? В виде исключения?

– Не дадут, – вздохнула она. – Терпи. Меня и так дважды вызывали к директору, а ты еще и не закончила первый класс. Вот дождешься, переведут тебя в школу для сложных. А там не сахар.

Спорить с Лу в подобных ситуациях было бессмысленно – раз даже она сложила лапки, значит, не было и призрачного шанса на успех. Она (как, впрочем, и я) была из тех, кто до последнего барахтается и сопротивляется, кто вылезает из шторма, ухватившись за хресто-

матийную соломинку, и про кого потом все говорят – вот везунчик! – хотя дело не в фортуне, а в комбинации «вера в себя» плюс «стойкость».

В целом учеба давалась мне легко. Терпение не числилось среди моих достоинств, зато у меня был живой ум и огромный опыт посиделок во взрослых компаниях. Лу с самого детства таскала меня по гостям, а приятели ее были преимущественно из богемных болтунов – писатели, художники, театральные декораторы, – беспечный нарядный сброд, взрослые дети, которые воспринимали Москву не как поле боя, а как вечный карнавал.

Моя лексика, моя манера речи формировались при их непосредственном участии. Они научили меня думать и рассуждать, так что программа начальной школы казалась мне более чем легкой.

Правда, были проблемы с прописями – у меня всегда был отвратительный почерк. Я не могла справиться с простейшим заданием – нарисовать ровный частокол простых палочек. Но на помощь мне приходила Лека, моя новая лучшая подружка. Старательно сопя и высунув кончик розового языка, она заполняла сначала свои прописи, а следом и мои. А я за это решала для нее математические примеры и помогала писать сочинения.

Лека была плавной, медленной и уютной, как поднимающееся теплое тесто. Она все делала неторопливо – ходила, говорила, соображала. Много лет спустя я думала, что же заставило меня тогда удержаться возле Леки, так впустить ее в себя, взрастить такую нежную и многолетнюю дружбу. Мы ведь такими разными были – ну просто два полюса. Но мне с ней было хорошо. Что-то было такое в Леке моей, что-то настоящее.

Лека тоже росла без отца, а мать ее была кондитером. После уроков мы часто заваливались к ней. В ее квартире всегда был чудовищный бардак, зато пахло свежими плюшками и корицей. И еще у нее был кот, такой же унылый и толстый, как сама Лека.

Сначала мы делали уроки, потом Лекина мать, мрачноватая, дебелая, с узкими жесткими губами, словно нехотя приглашала нас на кухню и разворачивала «скатерть-самобранку». Как же в этом доме любили поесть! Мы-то с Лу питались просто, почти солдатски. Лу никак нельзя было назвать гедонистом: к еде она относилась, скорее, как к неприятной необходимости, и мне не привила привычки наслаждаться пищей. Творог, гречка, макароны и вареная курица – вот такой бесхитростный набор можно было видеть на нашем столе. Иногда любовники Лу приносили конфеты, это был праздник. А летом мы всегда сами варили варенье в огромном алюминиевом тазу – земляничное, сливовое, яблочное.

То, что буднично подавала к чаю мать Леки, казалось невиданными деликатесами. Пышные ватрушки, увенчанные куполом вишневого джема; домашнее пирожное «картошка», миниатюрное, кругленькое, тающее во рту; грибочки из песочного теста, начиненные вареной сгущенкой; безе; эклерчики с заварным кремом. Мы устраивали раблезианские пиры. Эта чудесная пища, как будто теплое ватное одеяло, обнимала меня изнутри. У меня даже щеки округлились, и на них поселился яркий румянец, всегда сопутствующий сытости.

Я пыталась ввести Леку в круг своих дворовых друзей, но популярностью она не пользовалась. Неповоротливая и неловкая, она не могла играть ни в вышибалы, ни в войнушку, ее никто не хотел видеть в своей команде. Но как-то так получилось, что в невидимой схватке Лека VS двор с разгромным счетом выиграла первая. К началу второго класса почти все время мы проводили вместе.

– Ты даже как-то будто более женственной стала с толстушкой этой, – заметила однажды Лу.

Причем по ее интонации было неясно, радуется это ее или огорчает.

Мне тридцать два года, и вот уже двенадцать недель я ношу под сердцем крошечного человечка, который, судя по результатам ультразвукового исследования, пока больше напоминает головастика или космического пришельца. «Ношу под сердцем» – это, конечно,

образный пафос «материнских» интернет-форумов. Потому что на самом деле вот уже несколько дней я никого никуда не ношу – ну то есть максимум до туалета и обратно. Потому что я лежу на сохранении в клинике, и мне прописан строгий постельный режим.

Несколько дней назад мне приснилось горячее южное море – кажется, это был остров Пхукет, который несколькими годами ранее мы однажды посетили с Лекой. Во сне я стояла в море по пояс, а оно почему-то кипело, как бульон, и становилось все более горячим. «Это ад для особенных грешников, которым сочувствует Бог, – подумала я во сне (хотя наяву была почти атеисткой). – Меня сварят не в котле, а в синем-синем бескрайнем океане, в котором перламутровые рыбы и белые корабли». Я подумала об этом, проснулась и обнаружила, что лежу в луже крови, темной и горячей. Вызвала «скорую», а пока они ехали (сорок пять минут), пила какао у окна и пыталась побороть неожиданно подступившие слезы. Никогда в жизни я не числилась в сентименталах, но тут такая горечь подступила к горлу, хоть вой на луну. Может быть, чертовы гормоны.

Все эти десять недель я старалась меньше думать о предстоящем материнстве – эта пустота была чем-то вроде защитной реакции, врач ведь предупреждала, что ЭКО-беременность – дело ненадежное, она может закончиться выкидышем в любой момент, и нельзя расслабляться раньше того, как минует половина срока.

И вот, и вот. «Ничего страшного, – уговаривал мой внутренний рассудительный взрослый моего внутреннего испуганного ребенка. – Мы попробуем еще раз. У всех получается, получится и у меня. Тридцать два года – это, конечно, не юность, но и не трагедия. Я в самом соку, и если захочу, обязательно стану матерью... Зато теперь снова можно курить и пить драмбуи».

Однако в больнице, куда меня привезли, выяснилось: паниковала я зря, беременность можно было сохранить, просто произошла отслойка плаценты, подразумевающая спокойный режим и новые гормональные пилюли в моем и без того исполненном таблеток ежедневном рационе.

Так я оказалась в больнице и вынуждена была делить палату с непостижимыми для меня женщинами, словно прилетевшими в мой мир с другой планеты.

Одну из них звали Фаина, она была высокой, за метр восемьдесят, и плотной, как добротный книжный шкаф. У нее были буйные еврейские кудри, тяжелый задок, голос густой, как деревенская сметана, и грустные зеленые глаза, под одним из которых желтел заживающий фингал.

Фаину бил муж – без угрозы для здоровья, но с оскорбительной регулярностью. Доставалось ей за мелкие бытовые провинности. Как будто он воспитывал описавшегося на ковер щенка. Не вымыла посуду сразу после ужина. Подала остывший суп. Не разложила носки парами. Не заметила, что с рукава парадной рубашки отлетела пуговица. Простудила дочку. За все это Фаине доставались пинки и зуботычины и уже почти десять лет. Странно, но она не стеснялась об этом рассказывать, хотя лично мне ее монологи казались словно написанными редакторами программы «Россия криминальная».

– Слушай, а напиши на него заявление, – однажды не выдержала я. – Хоть раз. Заявление в милицию. Может быть, это отучит его руки распускать.

– Да ты что, – жизнерадостно рассмеялась Фаина. – Он же у меня в целом мужик хороший. И не пьет, и зарабатывает. Шубку вот мне купил. А пока я тут кукую, обои переклеит. Очень уж малыша хочет, так ждет... А то, что поколачивает, так несильно же...

– А если однажды ударит сильнее?

– Да глупости какие. Он же меня любит.

– А когда он тебя в первый раз ударил, влюбленный этот? – однажды спросила я.

– Да стоило только нам познакомиться, – невозмутимо ответила Фаина, причем на ее щеках расцвел румянец, видимо, сопутствовавший приятному сентиментальному воспоми-

нанию. – Мы тогда в кино пошли, и за нами сосед мой увязался... Витек, мы с детства дружили. Он был мямля и воспринимал меня чуть ли не как мамочку, хотя был на годок старше. Все ему пыталась девочку найти, так никто с ним встречаться не хотел. Вот он и ходил за мной хвостиком, убогенький. У меня и в мыслях не было, что к этому хлюпику вообще можно приревновать. Но Руслан увидел его и разозлился. Отозвал меня в сторонку и говорит – чего это, мол, на свидание другого мужика привела. А я удивилась – разве ж то мужик? Ну он меня и треснул по уху. Я еще подумала: «Ну надо же какой темпераментный...»

– Фая, но разве это не ужасно, – я пыталась нащупать в ее поросшей кудрями голове хотя бы зачаточный здравый смысл. – Получается, что он не доверял тебе с самого начала. Не видел в тебе друга.

Этот аргумент ее почему-то развеселил. Смеялась Фаина красиво и заразительно, как ребенок.

– Скажешь тоже глупости, Алка! Где же это видано, чтобы мужики с бабами дружили! Вроде и не дитя ты, а таких простых вещей не понимаешь. Мужiku от бабы не дружба нужна, а забота... Ну и... это самое... – Она слегка покраснела.

– Потому и одна, что не понимает, – вмешалась в разговор моя вторая соседка, которая называла себя Элеонорой, хотя по паспорту числилась бесхитростно Леночкой.

Элеонора была полной противоположностью Фаи, однако они быстро нашли общий язык в негласном союзничестве против меня. Общим казалось, что я смешна своими убеждениями, обе с энтузиазмом надо мной подтрунивали, впрочем, не пытаясь вступить в спор, который, разумеется, был бы ими проигран за неимением аргументов, кроме «так принято».

Элеонора была красивой пустоголовой девахой, которая, прожив на свете четверть века, пришла к выводу, что мир по умолчанию принадлежит мужчинам, а значит, ее задача – стать первосортной гетерой, пресловутой «ночной кукушкой», которая любовным искусством да взлелеянной красотой отвоюет себе вкусный кусочек места под солнцем. Межполовые отношения она воспринимала как поле боя, а саму себя считала генералом, не имеющим право расслабиться ни на минуту.

У Элеоноры были медно-рыжие волосы, огромные синие глаза, обрамленные трогательно белесыми ресницами, которые она, впрочем, предсказуемо закрашивала удлиняющей тушью. Я давно заметила, что девицы такого типажа не способны оценить простую неброскую красоту, вместо этого они стремятся, чтобы их наружность производила эффект нокаута. Холеная кожа Элеоноры имела оттенок золотистой ириски, ее ногти были перламутровыми и длинными, и к каждому приклеен поблескивающий искусственный брильянтик.

Она носила плюшевые спортивные костюмы и домашние тапочки на десятиметровых каблуках, что вводило в ступор больничных нянечек, однако спорить с красавицей они не решались, ибо Эля умела так красноречиво сдвинуть татуированные бежевые брови, что всем присутствующим хотелось слиться со стенами, как хамелеонам.

Каждое утро Элеоноры начиналось с того, что она вытряхивала на кровать гору баночек и тюбиков. Под глаза – один крем, на шею – другой, даже для локтей у нее было какое-то особенное масло. Потом – легкий макияж, несколько капелек жасминовой туалетной воды, последний победоносный взгляд в карманное зеркальце, и можно отдать себя больничным будням, которые заключались в концентрированной скуке, вялых разговорах с нами и перечитывании душеспитательных интервью из «Каравана историй».

А еще у Элеоноры была силиконовая грудь, причем она совершенно не стеснялась этого обстоятельства – во всяком случае, идеально вылепленные хирургом формы были продемонстрированы мне на пятнадцатой минуте знакомства.

– Любовник бывший оплатил в качестве прощального подарка, – похвасталась она. – В Бразилии делали, подруга хорошего хирурга посоветовала. Вообще не отличишь от настоящей, да?

Я согласилась, при этом даже не соврав, ибо грудь ее и правда выглядела красивой и естественной, и совсем не походила на те инородные твердые шары, которые иногда бывают приклеены к торсам моделей, позирующих для обложки какого-нибудь «Плейбоя».

– А ведь у меня вообще там ничего не было, доска два соска, – рассмеялась Элеонора. – Восемь тысяч евро все удовольствие. И клиника хорошая, на завтрак устриц подавали, да еще и ботокс бесплатно сделали в качестве комплимента.

– Хорошенький комплимент, душевный, – приснула я, но Эля не оценила шутку. – А как же ты будешь кормить ребенка такой грудью? Это возможно?

Она нахмурила высокий гладкий лоб.

– В принципе да, только вот что же мне, идиотке, лететь за океан, чтобы сделать грудь, отдать такие деньги, а потом испортить ее кормлением? Сейчас прекрасные искусственные смеси.

Вообще, будущее материнство Элеоноры было заранее распланировано во всех подробностях – ее беременности исполнилось всего десять недель, когда она наняла британца-декоратора для оформления детской комнаты.

Условное деление на голубой и розовый казалось ей пошлым мещанством, она выбрала европейский подход – белые стены, занавесочки из грубого льна и плетеная индонезийская колыбель с густым марлевым пологом. Специальное агентство подобрало ей двух нянь. Дневную – строгую учительницу французского языка (зачем, зачем, зачем младенцу профессиональная гувернантка?!) и ночную – безропотную филиппинку. Она заранее записалась в пафосную швейцарскую клинику на программу «Восстановление после родов», приобрела два ящика утягивающих колгот и каждые полчаса втирала в еще абсолютно плоский живот крем из галапагосских водорослей.

Всю эту роскошь оплачивал биологический отец ее ребенка, произнося имя которого – Иван Иванович, она почтительно понижала голос. Он никогда не навещал ее сам – боялся огласки, потому что был давно и прочно женат. Но каждый день присылал водителя – широкоплечего простодушного блондина, который приносил то свежий гранатовый сок, то пресную индюшачью грудку и обезжиренный бельгийский творог (больничная еда казалась нашей диве чересчур калорийной), то кипу глянцевого журналов, которые Эля читала как Библию, то какие-то проростки.

А однажды и бархатную коробочку, в которой оказалось кольцо из белого золота с россыпью разноцветных сапфиров. Обнаружив подарок, Элеонора завизжала так, что примчались медсестры с успокоительным уколом.

Ее жизнь казалась мне трагедией, однако она сама считала, что вытянула счастливый билет. Ведь она чуть ли не с детства мечтала найти мужскую спину, за которой можно было бы спрятаться от жизненных невзгод. Она всегда была смазливой и бойкой, ее амбиции не простирались дальше вращивания в себе идеальной гейши.

Она получила какое-то простенькое псевдообразование – платный вуз из расплодившихся новомодных, два года бессмысленных лекций, зато в ее дипломе значилось «искусствовед», и она могла хоть и поверхностно, зато долго ворковать о Рембрандте и Дали.

Мужчинам это нравилось. Подозреваю, что они не вслушивались, просто наблюдали за тем, как красиво шевелится ее идеально прорисованный рот. У нее были приятные манеры и завораживающий голос, отбеленные зубы и шелковые волосы, на уход за которыми она тратила двести долларов в неделю. Она занималась йогой и ходила в балетный класс, бегло говорила по-французски, разбиралась в модных тенденциях и умела держать спину прямо много часов подряд.

А несколько лет назад – Элеонора призналась со сдвинутым смешком – она два месяца посещала специальные курсы тренировки интимных мышц в Бангкоке.

– Знаешь, как раньше отбирали красавиц в гарем? – Эля сидела на подоконнике, красиво скрестив идеальные длинные ноги, а мы с Фаиной внимали. – Им во влагалище помещали нефритовое яичко с ниточкой. А потом за нитку тянули, и задачей девушки было не отпустить яйцо. У кого не получалось – шансов попасть в гарем не было никаких, даже если речь шла о прославленной красавице.

– И так умеешь? – ахнула простодушная Фаина, которая до знакомства с соседкой-гейшей не то чтобы о нефритовых яичках, но даже и об интимной эпиляции никогда не задумывалась.

Эля красноречиво подняла бровь – мол, я умею еще и не так.

– Существовал и еще один популярный гаремный тест. Девушку сажали на экзаменатора в позицию наездницы. И она должна была, не совершая никаких движений телом, сделать так, чтобы он получил наивысшее наслаждение.

– Как это? – У Фаины даже лоб вспотел.

– Двигать можно только этим местом, – самодовольно улыбнулась Элеонора. – Ну знаешь, пускать волну. Чтобы мужчине казалось, что ты страстно на нем скачешь... А на самом деле ты просто сидишь и все.

Бедная пунцовая Фаина, тридцать пять лет назад родившаяся в Рязанской области, духовно подпитывающаяся посредством просмотра ток-шоу вроде «Давай поженимся», потянувшись за бутербродом с колбасой. Она, до того самого момента спокойно жившая с самооощущением «бабы-с-огоньком», вдруг почувствовала себя кем-то вроде викторианской девственницы.

– Да что там волна! – Наличие настолько благодарной и эмоциональной слушательницы еще больше раззадорило нашу самоназванную Шехерезаду. – Они там такое вытворяют, в Бангкоке этом. Любая проститутка из посредственного стрип-бара умеет этим местом хоть курить, хоть свистеть в свисток.

– А зачем? – прошептала Фаина. – В свисток-то зачем, девочки? Это что, тоже возбуждает мужчин?

И такой беспомощной она выглядела в тот момент, что я не удержалась от демонического хохота. Мне и самой приходилось бывать в Бангкоке – несколько лет назад мы с Лекой затеяли путешествие по Юго-Восточной Азии. В местном квартале красных фонарей, Пат-понге, и правда были популярны своеобразные шоу – жрицы ночи прямо на сцене демонстрировали экзотические таланты, стараясь перещеголять друг друга.

Одна невозмутимо запихнула в себя ожерелье из битого стекла, она работала мышцами как кобра, умела вовремя расслабиться, и конечно, даже не поранилась. Другая, миниатюрная как подросток, вынесла на сцену корзину с шариками для пинг-понга.

Не успели зрители удивиться, как все шарики оказались в ней, а потом она встала на мостик, раздвинула ноги, будто на приеме у гинеколога, поднатужилась и – о ужас! – шары полетели в толпу. Один из них попал Леке между глаз, и моя подруга, всегда отличавшаяся почти патологической брезгливостью, с визгом выбежала из бара. Для успокоения души ей требовалась немедленная дезинфекция. Мы едва нашли круглосуточную аптеку, но тайский фармацевт никак не хотел понимать слово «мирамистин» и все пытался впарить нам презервативы.

В итоге Лека купила в ближайшем баре тройную порцию текилы и на глазах у всех умыла ею лицо. А потом мы долго сидели под каким-то цветущим кустом и наизусть читали друг другу Марину Цветаеву – обеим вдруг захотелось бесхитростной чистоты.

– Ага, и сигарета возбуждает тоже, – со смехом добавила я. – Вот представь, Фая, заходишь ты к своему начальнику и говоришь ему – мол, дай закурить. Он протягивает пачку, ты берешь одну, снимаешь трусы и начинаешь сосредоточенно курить... ну...

– Пиздой, – подсказала Элеонора, детский тембр голоса которой придавал матерной лексике особенный оттенок. – Да еще и дым выпускаешь колечками в лицо ему прямо.

– Хватит, девочки, я сейчас рожу, – окончательно смутилась Фаина.

Вообще, из Элеоноры получилась бы превосходная салонная жена – безупречное украшение гостиной. Из тех, что демонстрируют интерьеры со страниц журнала «Идеальный дом», каждую субботу запекают утку с яблоками, греют для мужа тапочки и дважды в год отовариваются в Милане, чтобы произвести должное впечатление на всех этих бессмысленных светских раутах, куда их выводят в качестве дорогого аксессуара. Это была ее жизнь, идеальная кукольная жизнь.

Но с замужеством у Эли не сложилось.

Был один хороший претендент, металлургический босс, но ей тогда было всего шестнадцать, а у него изо рта так пахло луком, и так блестела лысина, и так опасно потемнел взгляд, когда однажды в кино она без задней мысли обмолвилась, что Киану Ривз симпатичный.

Элеонора решила сделать ставку на то, что жизнь длинна, и у нее, такой безупречной и смелой, вполне есть шанс совместить романтику с очагом, который не стыдно продемонстрировать на развороте «Идеального дома». Потом сотню раз жалела. Металлургический жених расстраивался недолго, подобный материал вообще не залеживается в исполненной хищниц всех мастей Москве. Он был подобран и обласкан какой-то джазовой певичкой, которая быстро родила ему двойню, поселилась на его вилле на Капри, иногда выезжала на Венский бал или какую-нибудь кремлевскую премьеру, чтобы вздохнуть рассказать менее удачливым подружкам о том, что счастье существует.

А у Эли началась темная полоса. Мужчинам она нравилась, но никто из них не хотел на ней жениться. И вот ей уже двадцать пять. И вот уже косметолог, которого она посещала еженедельно, нахмурившись, сказала, что у нее начали провисать уголки губ. Это так впечатлило Элю, склонную к депрессиям на пустом месте, что она с тех пор смотрела в зеркало и видела не привычную красавицу, а разрушающийся мир, канун Апокалипсиса.

И тут подвернулся депутат один, тот самый Иван Иванович. Хороший мужик, спортивный, добрый, не очень требовательный, слегка за пятьдесят. Познакомились они на горнолыжном курорте – Элеоноре повезло упасть к нему под ноги в тот момент, когда его жены и взрослых детей не было на склоне. И звезды совпали так, что Иван Иванович разглядел что-то особенное в ее синих глазах и дал ей свою визитную карточку. Она, конечно, сразу поняла, что ей едва ли светит постоянное место на левой половине его кровати, но что-то заставило ее, вернувшись в Москву, набрать номер Ивана Ивановича.

Они встретились в модном ресторане, а оттуда сразу поехали в отель. Он ей понравился искренне. Вел он себя как отец, опекал ее, в первый же день заметил, что она носит однослойные кожаные перчатки, велел водителю затормозить у бутика и приобрел меховые – жутко пошлые, с бабочками из стразов, но Эля, которой мужчины преимущественно пользовались, была тронута до слез.

Он подкладывал в ее тарелку лучшие куски, заменил заказанный ею коньяк на горячий шоколад, а когда они остались наедине в гостиничном номере, вместо того, чтобы в порыве страсти сорвать с нее специально подобранное для свидания алое платье, укутал ее пледом и рассказал о себе. Иван Иванович боялся ее ранить, ему хотелось быть честным. Не хотелось, чтобы похожая на принцессу из детской сказки Эленька питала ненужных иллюзий, которые в будущем могли бы принести ей страдания.

Он сразу же рассказал, что женат уже двадцать два года, брак у него вполне счастливый, хотя со временем жена стала просто лучшим другом, без какого-либо гендерного подтекста. Но спят они по-прежнему в одной комнате, на ночь читают друг другу вслух интернет-газеты, у них два лабрадора и ухоженный коттедж в Барвихе, она разводит цветы и

умеет печь такие пирожки, что это даже лучше, чем секс, от которого оба некогда отказались по взаимному согласию. Конечно, жена догадывается, что у Ивана Ивановича случаются связи, однажды она даже завела об этом разговор, попросив его обставлять все так, чтобы она не чувствовала себя униженной. И он дал обещание, которое намерен держать. Так что он может предложить Элеоноре весь мир, но это будет тайный мир, только для них двоих.

А потом он целовал ее руки так нежно и аккуратно, каждый пальчик, что у Эли закружилась голова, и она сама сняла свое красное платье, сняла и аккуратно повесила на спинку кресла. Иван Иванович был неизбалованным и нежным, и через несколько часов она не то чтобы вдруг почувствовала себя влюбленной, но во всяком случае поймала себя на внезапном желании гладить пальцами его лицо, что в ее системе координат практически означало команду Alarm!

Они встречались сначала дважды в неделю, а потом и через день, всегда в отелях. Он снял для нее уютную трехкомнатную квартирку на проспекте Мира и открыл счет в банке. И пусть ограничений в их отношениях было куда больше, чем дозволенностей (Иван Иванович не познакомил ее ни с кем из своего окружения, кроме водителя, да и сам не стал знакомиться с ее подругами, и никогда не появлялся с ней на публике), зато рядом с ним Элеонора впервые познала смысл расхожего выражения «как за каменной стеной». Было в нем что-то такое, настоящее, надежное, мужское. Однажды она пожаловалась на хроническую анемию (спутницу всех практикующих строгие диеты), так он сразу же приобрел для нее медицинскую страховку. Ему нравилось баловать ее, нравилось видеть искреннюю и благодарную улыбку на ее лице. Подарками Элю осыпал – и шубку купил из баргузинского соболя, и двухместную «тойоту», и платьев штук как минимум пятьдесят. Однажды вывез на выходные в Варшаву – там практически не было шансов встретить знакомых. Целыми днями они бродили по улицам, взявшись за руки, иногда заходили погреться в кафе, и он поил ее горячим шоколадом с ложечки, и они целовались под зонтом на каком-то мосту, и кажется, впервые в жизни циничной Элеоноре стало грустно при прощании. Она-то привыкла воспринимать любое прощание как новую открытую дверь, новую дорогу. Буддийский такой подход, очень удобный для тех, кто боится близости. А тут так тошно стало в такси, которое везло ее из аэропорта по тягучим, как желе, московским пробкам, так тошно, хоть волком вой. Чтобы не заплакать, она врубила в плеере Бритни Спирс, дурацкую в своем неестественном позитиве.

Должно быть, там, в Варшаве, это и произошло. Вроде бы и презервативов было в изобилии, и дни «безопасные», но звезды совпали так, что недели через две после возвращения Элеоноре стало нехорошо с утра. Едва встав с кровати, она почувствовала такое головокружение, как будто запила полпачки снотворного бутылкой виски. Ей пришлось встать на четвереньки – так она и доползла до уборной, натываясь на углы. О возможной беременности она и не думала, даже когда ее выворачивало наизнанку. Списала все на несвежие устрицы.

Но приехавший вечером Иван Иванович почему-то сразу все понял – по глазам ее, по лицу. Отправил водителя в аптеку за тестами, а потом усадил ее в кресло и долго целовал ее лицо. Элеонора, затаив дыхание, ждала предсказуемой водевильной развязки – что он, потупив взгляд, даст телефон хорошего абортария и пачку денег на компенсацию морального ущерба. Но Иван Иванович, заварив обоим ромашкового чая, сказал, что он, конечно, никогда не запишет этого ребенка на свое имя, никогда не поступит так по отношению к своей жене, но если Эля хочет оставить малыша, она получит все-все, всю возможную поддержку, кроме имени в графе «отец». Она будет рожать в лучшей клинике, у ребенка будут лучшие няни, на ее имя сразу откроют счет, где будет лежать крупная сумма на случай «а мало ли что», ей купят еще одну квартиру. И все это за то, чтобы Иван Иванович в свои пятьдесят с небольшим мог иметь возможность прижать к груди крошечного малыша, вдыхать его молочный запах, ловить его мутноватый космический взгляд. Возможно, в будущем что-

то изменится – он как-то подготовит жену, но в ближайшие десять лет думать об этом бессмысленно. И если Элеонора сначала примет условия, а потом взбрыкнет, решится на шантаж, например, ей быстро подрежут крылья, такие возможности у Ивана Ивановича есть.

Эля думала недолго. Предложение показалось ей выигрышным лотерейным билетом.

– Десять лет, десять лет, – бормотала иногда она, поглаживая себя по животу. – Если у меня там пацан, он размякнет куда раньше. У него же одни девчонки, причем довольно непутевые. Одна якобы учится в Лондоне, якобы на какого-то дизайнера. Он показывал фотографии. Девушка красивая, но лицо заядлой кокаинистки. Вторая тоже – оторви и выбрось. Еще и разведется он, и женится на мне. Потому что я ему даю такое, чего ни одна жена не даст.

– Нефритовые шарики? – оживилась Фаина.

– Да иди ты, – Эля мрачно отвернулась к стене.

С ней иногда такое случалось – внезапный приступ апатии. Ее лицо мрачнело, она даже как будто выглядела старше. Она поджимала колени к груди и рассматривала стену, а потом все само собою сходило на нет.

В тот вечер я долго об этом думала – о красивой Элеоноре и ее странном счастье. Мне даже она приснилась предсказуемо в образе гаремной красавицы со связкой нефритовых яиц.

Интересно, где проходит грань между полным отдаванием себя в постели и сексуальным обслуживанием? Почему современные женщины готовы ездить в Бангкок и платить тысячи долларов за какие-то странные курсы, а для мужчины считается достаточным просто иметь член? Почему в той же Москве существуют десятки «школ гейш», но нет ни одной, к примеру, «школы эротических массажистов»? Почему женщина должна стараться угодить, а мужчине достаточно просто расслабиться и получить удовольствие? Как далеко готовы мы пойти, чтобы считаться – ох, слово-то какое противное! – конкурентоспособными? Вкалывать в лицо блокирующий морщинки яд, отказывать себе в сложных углеводах, уметь замолчать, когда того требуют обстоятельства, вовремя родить кому-нибудь сына и еще при всем этом обладать навыком удержания влаги нефритового яйца. Как так вообще получилось, что европейская столица в двадцать первом веке превратилась в город с гаремными правилами, и почти никому не кажется это диким?

– Алла... Ты спишь? – это прошептала мне со своей койки Фаина.

– Нет. Что случилось?

– Да вот я все думаю... У меня в серванте есть пасхальное яйцо, каменное... А что, если привязать к нему шнурочек и попробовать?

– Пасхальным? – прыснула я. – Ну ты даешь. Еще купи в секс-шопе костюм развратной монашки, и твое полное грехопадение будем считать осуществившимся.

– Ну да, пасхальное, наверное, нехорошо, – на полном серьезе вздохнула эта дуреха. – Но где же нефритовое-то взять?

– Фая, да расслабься ты. Вот тебе сколько лет, тридцать пять?

– Ну да...

– Ты тридцать пять лет жила на свете и чувствовала себя вполне полноценной, и вот теперь тебе понадобилось яйцо какое-то, которым ты даже пользоваться не умеешь. Это не твоя жизнь, чужая. И ничего хорошего в ней нет. Уверена, тебе бы все это не понравилось. В смысле быть на месте Эли.

– С одной стороны, да... Что же хорошего, она даже почти ничего не ест... Но с другой... Ты знаешь, у меня чуть ли не впервые сегодня возникло ощущение, что жизнь проходит мимо... Вот я сейчас рожу третьего, наберу еще пяток кэгэ, начнется быт, рутина. Пару лет в декрете посижу, потом выйду сводить балансы в какую-нибудь очередную контору... А потом мне будет уже сорок... У меня и так половина головы седая. А что-то проходит мимо. Что-то важное.

– Так и есть. Что-то постоянно проходит мимо нас. Мы живем в гипернасыщенном информационном пространстве. За всем не уследишь. Люди пишут книги, картины и оперы, а у нас нет времени все это потребить и переварить. А тут еще и гейши со своими нефритовыми яйцами... Фая, забей. Купи лучше абонемент в лекторий Третьяковки, там тоже жизнь кипит. Не менее интересная, чем в любом гареме, я тебя уверяю.

– Ладно, давай спать, – вздохнула она. – И все равно, Аллочка, тоска какая-то...

В третьем классе начались уроки труда, и это было ужасно.

Как было принято в советских школах, мальчики и девочки приобщались к облагораживающему труду в разных кабинетах. Я не знаю, как в светлую голову нашей директрисы пришло в голову допустить столь чудовищную несправедливость. Но факт – задача мальчиков состояла в том, чтобы перочинными ножиками обтачивать какие-то пластмассовые детальки, причем за каждую они получали по десять копеек.

К концу урока у каждого работника был шанс получить как минимум полтора рубля, особенно ловкие рекордсмены зарабатывали и три. Три рубля – огромная для ученика начальной школы сумма. Это тебе и мороженое на всю компанию, и билетик беспроигрышной лотереи, и несколько пачек кофейной жевательной резинки, и в конце концов, возможность накопить на нечто более существенное.

С нами, девочками, обошлись куда более строго. Было решено, что мы, будущие хозяйки, на уроке труда должны учиться готовить. Каждый урок был посвящен какому-то несложному блюду – то мы лепили сырники, то делали шарлотку, то жарили картошку с котлетками, однажды даже варили французский луковый суп (трудолюбивка оказалась с замашками эстета, даром что выглядела как запойный алкоголик). После урока на длинной перемене в «женский» трудовой класс вваливались гордые первым заработком мальчишки, и по идиллическому плану мы должны были встречать их чаепитием. На нас были нарядные красные фартучки с дурацкими кружевами. Мы накрывали на стол и сначала подавали мальчикам чай и еду, а потом уже позволяли себе попробовать результат собственных кулинарных экспериментов.

Но самым удивительным было то, что такой расклад никого не возмущал.

Кроме меня, разумеется.

Это казалось непостижимым. Моя попытка собрать оппозиционную коалицию среди одноклассниц с треском провалилась. Я собрала всех девчонок класса в туалете на втором этаже и прочла хоть и лаконичную, зато страстную лекцию об угнетаемом женском сословии в нашем лице. Слушали меня вяло.

– Девчонки, ну неужели вам самим деньги не нужны? Почему они зарабатывают, а мы должны печь дурацкие сырники?

– Ну и что, – наконец сказала некрасивая девочка с восхитительным именем Беата. – Моя мамка тоже готовит, а папка деньги в дом тащит. Это нормально.

Я едва не задохнулась от возмущения, но изо всех сил старалась сохранить хладнокровие. Лу всегда говорила, что люди истероидного типажа проигрывают в споре, даже если объективно их аргументы весомее.

– Это нормально, потому что твоей мамке нравится готовить. Но это же не значит, что все женщины так хотят. Моя вот мама, например, готовить ненавидит.

От меня не укрылось, что одноклассницы переглянулись, и на их лицах расцвели красноречивые кривоватые ухмылочки. Лу здесь считали чудачкой. Когда она появлялась в здании школы, за ней подглядывали из-за угла. А потом еще несколько дней обсуждали ее наряды, ее французские чулки со «стрелочкой», ее самодельные шляпки с войлочными цветками, ее духи, ее свободную манеру держаться, ее смех и то, как она не тушевалась перед

нашими учителями, привыкшими общаться с родителями как с крепостными, пришедшими с повинной.

Поняв, что искать других бунтарок среди себе подобных смысла нет, я решила обратиться к логике взрослых. Сначала осталась после урока у трудовички и спокойно объяснила ей свою позицию. Мне казалось, что я держусь вежливо, а звучу вполне авторитетно, однако ее тонко выщипанные по моде семидесятых брови недоуменно поползли вверх. Она смотрела на меня так, словно я была противным жирным тараканом, которого она застала на кухне, выйдя ночью за стаканом теплого молока. С брезгливым недоумением и непониманием, что с *этим* теперь делать – раздавить тапкой или дать ему уползти в укромную щель и притвориться, что его вовсе не существует.

Я говорила, что не очень люблю готовить, и из мамы моей тоже кашевар так себе, зато она умеет крутиться и что-то зарабатывать, так что мы, маленькая гордая женская семья, ни в чем не нуждаемся. И мне тоже хотелось бы в будущем крепко стоять на своих ногах и не зависеть от мужчин, а для этого умение заработать первые деньги кажется мне более важным, чем навык размешать тесто для шарлотки так, чтобы в нем не попадалось комочков сахара. То терпение, с которым она меня выслушала, даже давало некоторую надежду, однако несколькими минутами позже я поняла, что причиной тому было недоумение, а не интерес к аргументам.

Она обошлась со мной как с напроказившим пудельком. Даже спорить не сочла нужным. Просто подняла суховатый желтый палец, указала им на дверь и тихо сказала:

– Вон.

– Что? – растерялась я.

– Вон! – на несколько тонов громче повторила трудовичка. – Ты просто испорченная маленькая девчонка. Но чтобы ты не выросла такой же непутевой, как твоя мать, мы из тебя выбьем эту дурь.

Я поняла, что спорить с ней бессмысленно. Особенно если моя Лу казалась ей непутевой, потому что по логике, такая женщина, как трудовичка, должна была молиться на мою Лу и вдохновляться ею. Трудовичке было слегка за сорок, она была из хронически неустроенных – то есть марш Мендельсона ни разу не звучал в ее честь, хотя были времена, когда она об этом страстно мечтала. Сплетничали, что она много лет была безнадежно влюблена в женатого физкультурника. Даже красила глаза ради него, а на переменах – вот унижение! – носила ему остатки наших кулинарных экспериментов. Физрук был не дурак: угощением не пренебрегал и, прекрасно отдавая себе отчет в причинах такой щедрости, иногда снисходил до кокетливых авансов – то за тощий бочок ее ущипнет (трудовичка краснела, что в ее возрасте выглядело комично), то скажет, что у нее красивые волосы. Время шло, трудовичка *интересно* причесывалась, на краешке ее стола лежал потрепанный томик Ахматовой, она была давно готова к грехопадению в любой из возможных форм – хоть в кладовке с швабрами и моющими средствами. Но физкультурник просто принимал из ее трясущихся от волнения рук пироги, его щеки наливались румянцем, и он даже поправился на два килограмма. И ничего, ничего, ничего. На радость всей школе, эта обещавшая быть скучной история закончилась водевилем – однажды к трудовичке явилась физкультурникова жена, крепкая громкоголосая баба с перманентом и плечами профессионального гребца. «Ты от мужика-то моего отстань, селедка! – не стесняйся собравшейся толпы, насмешливо говорила она, и глаза ее метали молнии. – А то в бараний рог скручу и глаз на жопу натяну!» Куда уж трудовичке с ее тонкой желтой шейкой, ее Ахматовой и ванильной сахарной пудрой было выдержать такой напор. Оскорбленная, она убежала плакать в учительскую, и все ее утешали, и заваривали для нее травяной чай, хотя за спиной и крутили пальцем у виска. И вот такой человек считал мою Лу не богиней, а неудачницей.

Два провала меня не остановили, и я отправилась к директору. Мне едва исполнилось десять лет, но я так много раз видела, как в подобных ситуациях моя мать добивается своего – как нестигаема она, серьезна, исполнена чувства собственного достоинства, и как мелкие неудачи не гасят ее азарт. В мои десять лет я еще не научилась смотреть на собственную мать со стороны и пытаться трезво ее оценивать, я ее просто обожала и даже обожествляла, мне хотелось быть такой, как она.

Не знаю, чем бы закончился мой поход в директорский кабинет – возможно, и отчислением, – если бы мне не помешало одно обстоятельство. Директриса меня сразу невзлюбила, я была неудобной и сложной, портила статистику, выбивалась из строя. Про меня говорили: нахальная, наглая, а однажды даже «принесет в подоле» (это было сказано вполголоса старенькой уборщицей, я не знала, что означают странные слова, и вечером обратилась за разъяснениями к Лу, которая пришла в ужас, и я едва уговорила ее не идти в школу с атомной бомбой наперевес). Обстоятельством, которое помешало моему походу к директору, стала уже ранее упоминавшаяся мною учительница русского и литературы, бывшая балерина Стелла Сергеевна.

Она сама остановила меня в коридоре, хотя едва ли что-то в моем поведении могло расстроить или возмутить внутреннюю леди, крепко обосновавшуюся в ее существе, – шла я медленно, руками не размахивала. Но, видимо, что-то такое было в моем лице – некая решимость самоубийцы, что заставило ее остановить на мне заинтересованный взгляд.

– Девочка... – позвала она. – Я тебя помню, но забыла твое имя...

– Алла, – подсказала я.

– Да-да, – нахмуренно кивнула Стелла Сергеевна. – Что-то случилось?

Оглядевшись по сторонам и несколько мгновений подумав, достойна ли она быть хранителем скорбного секрета, который с минуты на минуту должен был обратиться громким школьным скандалом, я все же решилась и выложила ей все. Про оскорбительное распределение ролей, про то, как не люблю я готовить и как раздражает меня дурацкий фартучек, который мы вынуждены носить, про то, что мне тоже хотелось бы зарабатывать деньги и к лету накопить, например, на самокат или на новые духи для Лу. Она слушала молча и внимательно, что было необычно, – я давно привыкла к тому, что большинство взрослых раздражают попытки моего бунта, особенно те, которым они не могут противостоять с помощью логики.

– Знаешь что, – наконец сказала она, – а пойдем-ка в мой кабинет. У меня сейчас пустой урок, я заварю для тебя чай.

Прозвучало это скорее как приказ, а не приглашение. И пусть меня с раннего детства раздражали манипуляторы, которые пытались вмешаться в мою жизнь, проигнорировав вопросительную интонацию, я послушно последовала за ней. Потом, годы спустя, я не раз ловила себя на мысли, что в обществе этой женщины мне уютнее быть ведомой. Есть в ней что-то такое – наверное, это и принято называть «внутренним стержнем». При всей своей видимой жесткости она воспринималась не агрессором, а будто бы спокойной полноводной рекой, по течению которой хотелось просто плыть, широко раскинув руки и ноги.

Мы пришли в кабинет, и она закрыла дверь на ключ. На подоконнике был чайник, а в ящике ее стола нашлась пачка печенья, которое Стелла Сергеевна разложила по красивым фарфоровым блюдечкам. Вела она себя так, как будто организовывала званый ужин, а не спонтанное чаепитие с полужнакомой девчонкой. Чай был мятным, а печенье – ванильным, украшенным миндальной стружкой.

– Понимаешь, моя хорошая, – начала Стелла Сергеевна, – с одной стороны, ты абсолютно права.

Я удивленно распахнула глаза – и не то чтобы я заранее ожидала суровой отповеди, сам факт чаепития намекал на то, что ко мне готовятся отнестись как минимум с благодушным снисхождением, но такое полное принятие было чудом.

– Признаться, я тоже не люблю готовить. Дважды в неделю ко мне приходит подработать соседка, – немного смущенно улыбнулась учительница. – Она протирает пол, оставляет кастрюлю овощного супчика и домашнее печенье. Я малоежка, еще с балетных времен. Все считают это барством, но я не вижу смысл тратить жизнь на то, что не приносит удовольствия.

– Значит, вы тоже считаете, что я должна добиться перевода в группу мальчиков? – обрадовалась я.

Стелла Сергеевна покачала головой.

– Не уверена, что это будет умный ход. Я попробую попросить за тебя... Но я хотела еще и вот что сказать... Вообще, я люблю наблюдать за людьми. И знаешь, я тебя уже давно заметила.

Это признание меня удивило. Стелла Сергеевна всегда казалась немного отстраненной и смотрела словно сквозь. Она казалась погруженной в свой особенный мир, как будто бы вокруг нее был кокон, а все, что происходило в реальности – эта школа, этот серый город, – не имело к ней никакого отношения и не могло волновать ее даже в качестве декорации.

– В тебе есть что-то особенное, – глядя в темнеющее окно, сказала она. – В твои годы сложно такое понять, но лично я называю это Внутренней Богиней. Такая концентрированная, животная женственность, которая далеко выходит за рамки социальных ролей. Ты можешь делать что угодно, можешь прыгать через заборы и лузгать семечки с дворовыми мальчишками... Хотя все это, разумеется, отвратительно и совсем тебе не к лицу... Но Богиня все равно останется в тебе, если ты, конечно, сама ее не растратишь и не растеряешь по глупости...

Ее слова завораживали, хотя тогда я мало что в них поняла. Но Стелла Сергеевна умела говорить так, что форма завораживала не менее содержания. Должно быть, именно тогда я впервые ею залюбовалась, разглядела, как она была прекрасна.

Объективно у нее было остренькое, немного птичье лицо, длинноватый нос, сухая кожа с ранними морщинками. На момент нашего чаепития ей едва ли было слегка за сорок, однако из-за ранней седины, которую она не считала нужным закрашивать, из-за нарочитой простоты казалась намного старше. Несколькими годами позже, когда мы сблизились и подружились, я узнала, что избранное странное амплуа суровой вдовствующей королевы никак не влияло на ее отношение с мужчинами. Вернее, на отношение мужчин к ней. Она предпочитала жить одна, никогда не любила делить с кем-либо пространство, слишком хрупким и изысканным был мир, которым она себя окружала, в нем не было места семейной будничности.

Но любовники и поклонники у Стеллы Сергеевны были всегда. Все они умели разглядеть в ней то, что видела и я, – глаза ее лучились светом, как будто бы внутри ее черепной коробки мерцала волшебная свеча. А руки ее были и вовсе произведением искусства – тонкие, бледные, с длинными музыкальными пальцами, и складывала она их так, словно была профессиональной натурщицей, ежесекундно позирующей невидимому художнику, ходящему за ней по пятам. Видимо, в ней жила та самая Внутренняя Богиня, о которой она пыталась рассказать мне.

– И меня немного пугает твой азарт, – нахмурилась Стелла Сергеевна. – Вижу, на тебя очень сильно влияет мать... Я помню ту историю с мужской школьной формой и с фартуком, который ты отказывалась носить... Все это понятно, только вот как бы эта дорожка не завела тебя не туда. Понимаешь, бывает так, что все начинается вроде бы с трезвой идеи, но потом идея эта становится самоцелью. Сверхценностью. И получается, что не идея обслуживает

тебя, а наоборот. Ты начинаешь подчинять ей свою жизнь. И ведешь себя уже не так, как хочешь сама, хотя, казалось бы, за это и боролась изначально. А так, как требует идея... Ох, что же я такое говорю, – вдруг спохватилась она, и ее бледное лицо озарила улыбка. – Ты же совсем дитя. Тебе десять, так?

Я кивнула. Чай закончился, но уходить мне не хотелось.

– Тебе об этом думать рано. Но я запомню наш разговор и вернусь к нему потом, когда твоя голова будет более к этому готова. Я запомню, – она посмотрела на часы. – А теперь тебе, кажется, пора на математику.

Огорченная и разочарованная, я встала и одернула ненавистный фартук.

– Я поговорю насчет тебя с директором, – пообещала Стелла Сергеевна. – Чтобы тебе разрешили обтачивать детальки вместо уроков кулинарии.

Обещание она выполнила – уж не знаю, как ей такое удалось. Но на следующей же неделе в наш кулинарный класс заглянул мрачный и вечно похмельный трудовик и вызвал меня. Мне выдали другой фартук – не легкомысленный кухонный, а серый, грубый, рабочий. Одноклассники были, конечно, шокированы, но к третьему классу я научилась ловить их волну и обращать возможную агрессию в шутку. Я была неплохим манипулятором. К концу четверти все привыкли, что я хожу на «мужские» уроки труда, и эта тема навсегда выпала из скудного списка рефренных школьных сплетен.

Получалось у меня неплохо, трудовик даже ставил меня в пример – я никогда не зарабатывала меньше двух рублей. К концу года мне удалось собрать неплохую сумму.

В нашем классе училась девочка Вероника, дочка известной актрисы. Иногда я бывала у нее в гостях. Жили они в роскошной трехкомнатной квартире в одной из сталинских высоток, и это, пожалуй, было единственное помещение, перед которым я робела и даже будто бы становилась ниже ростом. Даже в Музее изобразительных искусств, куда нас организовано водили каждую среду на факультативный урок истории искусства, я держалась более расслабленно.

Дома у Вероники были высоченные потолки и широкие подоконники, на которые можно было забираться с ногами. На полу в гостиной лежал пушистый туркменский ковер, в большой кадке росло лимонное дерево, по стенам были развешаны картины (на одной из которых была изображена ее полуобнаженная мать – рыжая томная красавица, нагота которой была едва прикрыта каким-то блестящим мехом) и жуткие африканские маски.

Мебель была преимущественно антикварной, и каждый комодик походил на волшебную лавочку в миниатюре – чего там только не было: и драгоценные фарфоровые статуэтки, и китайские сервизы тончайшей работы, и павлиньи перья в костяной вазе, и какие-то мрачные броши с потускневшими старыми камнями. Веронике нравилось наше почтительное внимание, она гордилась и своим роскошным домом, и своей знаменитой матерью, и держалась с нами как начинающая светская львица со случайно заскочившими на кофе мешанками – впрочем, мы были еще слишком малы, чтобы почувствовать себя задетыми ее снобизмом и пафосом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.